**Ф.М.Достоевский. "Подросток". (1875)**

Тарасов Ф. Б.

В своем новом романе Достоевский показывает разложение родовых, семейных и общественных связей в капитализирующейся России, дает свою версию взаимоотношений "отцов и детей" и как бы подспудно полемизирует с Л.Н. Толстым, противопоставляя традиционным семействам Иртеньевых, Ростовых, Болконских "случайное семейство" Версилова. "Я уже давно, - отмечал он, - поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем их взаимном соотношении… Пока я написал лишь "Подросток", - эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и "случайность" свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет в сердце своем, любуется им еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих…" (I, 22, 7 - 8).

Неготовость или, как часто выражался писатель, недоделанность целомудренной в своей основе, но уже испорченной общей жизненной атмосферой души Подростка, ищущего справедливости на неправедных путях, и становится предметом художественного анализа писателя. В образе Аркадия Долгорукова, как и в образе Родиона Раскольникова рельефно воплощена пульсация "темной основы нашей природы", в границах которой направленность воли, особенности характера и своеобразие навязчивой "идеи" соотносятся друг с другом в неразрывном целостном единстве. В подготовительных материалах к произведению автор подчеркивал: "ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ. Подросток во весь роман не покидает своей идеи о Ротшильде окончательно. Эта idea fixa есть его выход изо всего, из всех вопросов и затруднений. Она основана на чувстве гордости, формирующейся в идее уединения… Во всем романе вести так, чтобы придать этой идее значение в романе главнейшее" (I, 16, 97). Затруднения, униженность и оскорбленность юноши обострила в нем гордость, которая сызмальства впиталась в его переживания: "С самых первых мечтаний моих, то есть чуть ли не с самого детства, я иначе не мог вообразить себя как на первом месте, всегда и во всех оборотах жизни" (II, 7, 222).

Когда же воображаемое не совпадает с действительностью, уязвленное самолюбие заставляет Подростка отъединяться от тех, кто как-либо превосходит его. Вообще он не любит людей, общение с которыми становится для него тяжелым занятием чуть ли не с двенадцатилетнего возраста и от которых он все больше замыкается, как черепаха, "в свою скорлупу", уходит в свой угол, погружается в свою идею. "Мне нельзя жить с людьми", признается он, "вся цель моей жизни - уединение". Но, живя в скорлупе", "углу", "идее", Аркадий Долгорукий, как и Раскольников, не может полностью отъединиться от людей, поскольку он связан с ними своей эгоистической гордостью, стремлением к первенству и господству над ними.

В условиях новых общественных отношений наиболее подходящим средством для одновременного уединения и возвышения служило богатство. "Богатство, - отмечал Достоевский в записной книжке, - усиление личности, механическое и духовное удовлетворение, стало быть отъединение личности от целого" (Ф.М. Достоевский об искусстве, с. 460). Потому именно богатые люди, особенно процветавшие в Америке, пленили воображение Подростка, когда он по ночам мечтал об уединенном могуществе. "К себе, к себе! - восклицает он в разговоре с Крафтом. - Все порвать и уйти к себе!.. В Америку! К себе, к одному себе! Вот в чем вся "моя идея"…" (II, 7, 205).

Свойственное "темной основе нашей природы" и выражающееся в разных формах эгоцентрического сознания "к себе" ассоциируется в уме Подростка с фигурой Ротшильда, ибо, став подобным ему, "я уже тем самым разом выхожу из общества". Он считал, что такой выход из общества может позволить ему взять верховную власть над ними: "…я жаждал могущества всю мою жизнь…". Пример ничем не ограниченного своеволия, тайного ощущения силы, способной с высоты денежного могущества править миром, Аркадий Долгорукий находит в образе пушкинского "скупого рыцаря". Этот образ отражает и важную для Достоевского предельную закономерность в сфере эгоистической гордости: чем выше Я, тем ниже все остальное, которое необходимо духовно оскопить или физически уничтожить (поскольку без соответствующего приниженного фона подобное самовозвышение не удостоверяет себя и не замечается окружающими) и тем самым потерять и в себе собственно человеческие черты. "Скупой рыцарь" и сравнивает себя с демоном, которому "все послушно", он же - ничему. Тайное мечтание непослушного демона находит высшее наслаждение в том, что он может принизить и поработить как раз противоположное его духу - добродетель, вольный гений, музы и т.п. Сердечные грезы настраивают Подростка на такое же наслаждение: "Мне нравилось ужасно представлять себе существо, именно бесталанное и серединное, стоящее перед миром и говорящее ему с улыбкой: вы Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры, вы фельдмаршалы и гофмаршалы, а вот я - бездарность и незаконность, и все-таки выше вас, потому что вы сами этому подчинились" (II, 8, 225).

Следует заметить, что ротшильдовская идея, на первый взгляд неожиданно, но по сути закономерно перекликается с шигалевской идеей в "Бесах", в реализации которой предполагалось всякого гения потушить еще в младенчестве, привести всех к "одному знаменателю" и полному "равенству" и которую Петр Верховенский оценивает следующим образом: "Шигалев гениальный человек! У него хорошо в тетради… Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспир побивается каменьями - вот шигалевщина!.." (II, 7, 381). Примечательно, что в обоих случаях, несмотря на разницу в "капиталистической" и "социалистической" логике, наблюдается своеобразная "игра на понижение", проистекающее из "темной основы нашей природы" завистливое устремление того, кто был "ничем", стать "всем". "В том-то и "идея" моя, в том-то и сила ее, что деньги - это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество", (II, 8, 222) - так характеризует Аркадий Долгорукий еще одну сторону своего выбора. Если для достижения могущества, насыщения гордости и удовлетворения эгоистического сознания через наполеоновскую идею требовался хотя и безнравственный, но все-таки талант, необходимы были определенные достоинства и доблести, то ротшильдовская идея обеспечивала статус необыкновенного человека, говоря словами героя "Преступления и наказания", самой обыкновенной "вши", которая с миллионом в кармане может, по замечанию Достоевского, делать все, что угодно. Писатель особо выделил в подготовительных материалах к роману привлекательность для молодого человека этого свойства его "идеи": "Его, главное, утешает в его системе наживы - бесталанность ее. Именно то, что не нужно гения, ума, образования, а в результате все-таки первый человек, царь всем и каждому и может отомстить всем обидчикам" (I, 16, 115).

В "Подростке" встречается своеобразное рассуждение владельца ссудной кассы Стебелькова о перемене ролей в обновляющемся обществе: "Я - второй человек. Есть первый человек и есть второй человек. Первый человек сделает, а второй человек возьмет. Значит, второй человек выходит первый человек, а первый человек - второй человек… Была во Франции революция, и всех казнили. Пришел Наполеон и все взял. Революция - это первый человек, а Наполеон - второй человек. А вышло, что Наполеон стал первый человек, а революция стала второй человек. Так или не так?" (II, 8,355). Продолжая аналогию Стебелькова, можно сказать, что развитие истории делало наполеонов вторыми, а ротшильдов - первыми людьми.

В черновиках Достоевский характеризует "идею Ротшильда" как новое явление и "неожиданное следствие нигилизма" в обществе без "оснований" и "преданий", теряющем религиозные убеждения и нравственные устои. При воцарявшемся "беспорядке" (этим словом первоначально обозначалось название романа) "игра на понижение" становилась естественным соблазном для "вторых", стремившихся стать "первыми" с помощью извращающей силы денег (ср. выстраданное мнение Гани Иволгина в "Идиоте": "Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают"). Общее поветрие захватывает и Подростка, противоречиво и парадоксально сочетаясь в его юношеской душе с жаждой высшего порядка и духовного благообразия. Автор подчеркивает, что он "ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе, этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа" (II, 8, 720). В этих поисках Аркадий сталкивается с самыми разными проявлениями "беспорядка" в семейных и социальных отношениях, попадает в водоворот неожиданных и катастрофических происшествий и переносит тяжелые нравственные испытания, в результате которых его "идея" теряет над ним свою притягательную власть, но "руководящая нить" так и не обретается, хоть на путь познания добра и зла он уже вступил. Горький опыт мятежных страстей, "стыда и позора", вовлеченность в личную драму отца заставляет молодого человека задумываться над тайной обнаруженного раздвоения, когда все делается во имя любви, великодушия, чести, а заканчивается безобразием, нахальством и бесчестьем.

Достоевский и в "Подростке" раскрывает одну из своих главных мыслей, что ростки зла, будучи незаметными, неосмысленными и неуничтоженными, способны к подспудному органическому росту и своеобразному смешению в человеческих душах с добрыми побуждениями, что приводит к бесхребетной раздвоенности поведения. Характеризируя собственное поведение, Келлер в "Идиоте" заявляет: "…и слова, и дела, и ложь, и правда - все у меня вместе и совершенно искренне". Сочетаются совершенно искренне несовместимые по духу слова и дела у Раскольникова, Ивана Карамазова, Степана Трофимовича Верховенского и у многих других персонажей писателя, в том числе и у Аркадия Долгорукого. Обнаруживая в себе "душу паука" и одновременную устремленность к высшей красоте, последний так и останавливается перед загадкой человеческой способности "лелеять высочайший идеал рядом с величайшей подлостью": "жажда благообразия была в высшей мере и уж, конечно, так, но каким образом она могла сочетаться с другими, уж Бог знает какими жаждами - это для меня тайна" (II, 8, 475).

Совсем другой комплекс идей связан с образом отца Подростка, Версилова, который, тем не менее, также демонстрирует на свой лад онтологическую расколотость внерелигиозного гуманистического сознания, подчеркнутую в эпилоге романа: "это дворянин древнейшего рода и в то же время парижский коммунар. Он истинный поэт и любит Россию, но зато отрицает ее вполне. Он без всякой религии, но готов почти умереть за что-то неопределенное, чего и назвать не умеет, но во что страстно верует, по примеру множества русских европейских цивилизаторов петербургского периода русской истории" (II, 8, 691).

Версилов пытается оформить "что-то неопределенное" в идеи абстрактной любви ко всему человечеству, высших достижений культуры, "живой жизни", "золотого века". Однако все эти идеи оказываются "нечистыми", т.е. несовершенными и недостаточными для преодоления "темной основы нашей природы", гордости, эгоизма, любостяжания… Достоевский так характеризует представителя на его глазах уходящего и изменяющегося дворянского сословия: "У него высокий идеал красоты, вериги для его достижения, ибо идеал - смирение, а все смирение основано на гордости… Самые позорные и ужасные воспоминания для него - ничто и не тяготят раскаяния, потому что есть "своя идея", т.е. идеал. Идеал нечистый. Самообожание. Люди для него - мыши" (I, 16, 235).

Подобно Ставрогину в "Идиоте", отец Подростка безвозвратно потерял непосредственную связь с "почвой", питающей "чистый идеал" и взращивающей экзистенциальную вовлеченность в атмосферу христианской веры. Рационалистическая гордыня мешает ему переступить "предпоследнюю верхнюю ступень до совершеннейшей веры", и все попытки преодолеть ее приводят его к однозначному выводу: "Друзья мои, я очень люблю Бога, но - я к этому не способен". Как и Ставрогин, Версилов отдает себе ясный отчет в том, что без любви к Богу и ближнему, без веры в бессмертие души всякая "великая мысль", любовь к дальнему и всему человечеству обесцениваются и обессмысливаются, оказываются непростительной иллюзией, а в реальной действительности и каждодневном поведении не препятствуют проявлениям "закона Я", "темной основы нашей природы", чему ярким примером является он сам. Теоретическое добро и нравственные императивы подрываются в его сознании убежденностью, что человек органически не способен любить ближнего своего: "Тут какая-то ошибка в словах с самого начала, и "любовь к человечеству" надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей (другими словами, себя самого создал и к себе самому любовь) и которого, поэтому, никогда и не будет на само деле" (II, 8, 347). В сниженно-материалистическом воззрении на людей как на "вшей", "мышей", "тварей дрожащих" он сближается с Раскольниковым и убеждает сына: "Люди по природе своей низки и любят любить из страху; не поддавайся на такую любовь и не переставай презирать. Где-то в Коране Аллах повелевает пророку взирать на "строптивых", как на мышей, делать им добро и проходить мимо - немножко гордо, но верно" (II, 8, 346).

Противоречие между "великой мыслью" и непосредственным жизнечувствием лежит в основе крайней раздвоенности внутреннего мира Версилова, способного "чувствовать преудобнейшим образом два противоположных чувства в одно и то же время". Отсюда его двойная любовь (к матери Подростка и к Екатерине Николаевне Ахмаковой) и двойная жизнь, которая превращается в иждивенчество и игру, едва не заканчивается убийством и самоубийством и как бы символически обобщается состоянием одержимости и раскалыванием иконы надвое. В образе Версилова автор показывает, как старшее поколение со всеми выработанными формами дворянской культуры, но в отрыве от национальной "почвы" и христианского идеала не может оставаться на должной духовной высоте и "удержать красоты за собою". Более того, "теперь уже не сор прирастает к высшему слою людей, а напротив, от красивого типа отрываются, с веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядствующими и завидующими. И далеко не единичный случай, что самые отцы и родоначальники бывших культурных семейств смеются уже над тем, во что, может быть, хотели бы верить их дети. Мало того, с увлечением не скрывают от детей свою личную радость о внезапном праве на бесчестье, которое они вдруг из чего-то вывели целою массой… И поверим, что истинных либералов, истинным и великодушных друзей человечества у нас вовсе не так много, как это нам вдруг показалось" (I, 25, 189).

По мысли Достоевского, лишенная прочного религиозно-нравственного фундамента культура "отцов" при определенном стечении обстоятельств "срывается с корней", перерождается и вырождается и тем самым прокладывает русло для нигилизма "детей" в его разных вариантах в том числе и в "идее Ротшильда". В качестве корректива к атеистической "великой мысли" и "европейскому цивилизаторству" Версилова автор романа выводит образ странника Макара Ивановича Долгорукого, который внутренне возвышается над "беспорядком" современного общества и конкретно воплощает духовное "благообразие", утраченное дворянским сословием и взыскуемое Подростком. Сам Версилов открывает в качестве особой черты его характера "ту почтительность, которая необходима для высшего равенства, мало того, без которой, по-моему, не достигнешь и первенства. Тут именно, через отсутствие малейшей заносчивости, достигается высшая порядочность и является человек, уважающий себя несомненно и именно в своем положении, каково бы он там ни было и какова бы ни досталась ему судьба. Эта способность уважать себя именно в своем положении - чрезвычайно редка на свете, по крайней мере, столь же редка, как и истинное собственное достоинство" (II, 8, 265).

В логике Достоевского, основа подобного самоуважения и достоинства, проявляющегося в облике, характере, жестах, поступках этого персонажа, воплощающего в себе еще один идейный комплекс романа, является "стояние пред Богом". Макар Иванович обладает полнотой сердечной убежденности в том, что "жить без Бога - одна лишь мука", бесплодная для преображения и утоления высших запросов души деятельность. "Ибо читают и толкуют весь свой век, насытившись сладости книжной, а сами все в недоумении пребывают и ничего разрешить не могут. Иной весь раскидался, а самого себя перестал замечать. Иной паче камене ожесточен, а в сердце его бродят мечты… Иной из книг выбрал одни лишь цветочки, да и то по своему мнению; сам же суетлив и в нем предрешения нет… Иной все науки прошел - и все тоска. И мыслю так, что чем больше ума прибывает, тем больше и скуки. Да и то взять: учат с тех пор, как мир стоит, а чему же они научили доброму, чтобы мир был самое прекрасное и веселое и всякой радости преисполненное жилище? И еще скажу: благообразия не имеют, даже не хотят сего; все погибли, и только каждый хвалит свою погибель, а обратиться к единой истине не помыслит" (II, 8, 503).

Идолопоклонникам науки, прогресса, "золотой кучи" или утопических мечтаний Макар Иванович противопоставляет "единую истину", которая одна способна просветить "темную основу нашей природы" и в свободном приятии божественной основы и тайны мира избавить человека от онтологической бессмыслицы и экзистенциальной тоски. Руководимый этой истиной "странник" преодолел неизбежную для эмансипированного сознания мучительную раздвоенность, справился с мощными эгоистическими силами "натуры", обрел подлинное смирение, спокойствие духа и "веселие сердца", выработал мудрость "главного ума", которая при отсутствии внешних знаний позволяет верно оценивать происходящее, не терять чувства меры в суждениях о людях и событиях, оказывать благотворное нравственное влияние на окружающих.

"Твердое в жизни" - так называет эту мудрость Подросток, которая становится для него столь же притягательной, как "великая мыль" Версилова, и так же способствует ослаблению "идеи Ротшильда". В эмоциональном порыве Аркадий признается Макару Ивановичу: "Я вам рад. Я, может быть, вас давно ожидал. Я их никого не люблю: у них нет благообразия… Я за ними не пойду, я не знаю, куда я пойду, я с вами пойду…" (II, 8, 489). Однако автор оставляет открытым вопрос о том, куда в конечном итоге "пойдет" выходец из "случайного семейства", расставаясь с ним как бы на перепутье, на развилке трех дорог. Проблемы, поставленные в "Подростке", найдут свое углубленное религиозно-философское осмысление и в последнем романе писателя.